

От редактора

Менее всего хотелось бы, чтобы это послесловие воспринималось как подведение итогов. Итогов здесь быть не может, как не может быть и единственного истинного мнения. Мы его и не искали. Задача была другая: представить спектр возможных соображений по предложенным вопросам, чтобы читатель мог сделать свои выводы относительно высказанных позиций. Мне бы хотелось лишь отметить точки пересечений и расхождений разных ответов, а также акцентировать некоторые идеи и соображения.

Прежде всего, следует, наверное, отметить, что все участники опроса согласились с тем, что в последнее время конфигурация исследовательского поля социальных наук существенно изменилась. Разумеется, можно спорить о том, насколько уникальна эта ситуация и насколько радикальны наблюдаемые изменения, но их значимость (особенно для российской науки) не вызывает сомнения.

В ответах участников обсуждения основное внимание было уделено самому факту изменения исследовательских ориентаций. При этом спектр высказываемых мнений оказался столь широк, что иногда складывалось впечатление, будто авторы высказывают свои соображения не по одним и тем же, а по разным вопросам. В поле внимания участников обсуждения оказались темы, связанные с антропологическим изучением супермаркетов и судебных учреждений (Вячеслав Иванов); новые жанры самовыражения, циркулирующие в Интернете и в электронной почте (Катриона Келли); межэтнические отношения в больших североамериканских городах (Вячеслав Иванов, Николас Харни); проблема соотношения старых и новых записей фольклорных текстов (Георгий Левинтон); особенности постсоветской массовой культуры (Александр Панченко, Адель Баркер), ритуализация поведения, сопровождавшая коллапс советской власти в конце 80-х гг. (Левон Абрамян) и другие. Если же ограничиться вопросами анкеты, то складывается примерно такая картина.

Сама постановка вопроса о переносе внимания с «основных» явлений на «периферийные» вызвала у некоторых участников обсуждения недоумение: «Кто, собственно говоря, имеет право де-

лить культурные явления на «основные» и «периферийные», «главные» и «маргинальные», «классические» и «упадочные»?» (Александр Панченко). И далее: «Если культура — это то, что есть, а не то, что должно быть, не совсем понятно, почему история литературы уделяет большее внимание Солженицыну, а не Марининой». Соглашаясь с общим пафосом этих высказываний, не могу не заметить, что и без всякой идеологической подкладки любая научная традиция формирует свои представления о главном и второстепенном. Иначе, наверное, и быть не может, т.к. нельзя с одинаковым усердием изучать все на свете. Как пишет Юрий Березкин, «задача фиксации настоящего во всех деталях вообще невыполнима — система знания предполагает иерархию приоритетов».

Впрочем, даже в пределах этого обсуждения обнаруживаются и другие взгляды, в которых попытка уйти от противопоставлений вроде «основного» и «маргинального» связывается со своего рода сменой перспективы в российских исследованиях культуры, когда «"этнографо- и дисциплино-центричность" наблюдений незаметно для самих исследователей стала размываться и уступать место неведомой прежде полицентричности <...>, в контексте которой сама разметка наблюдаемых явлений на "центральные" и "периферийные" ("классические" и "маргинальные") становится проблематичной» (Сергей Соколовский).

Перенос центра тяжести на изучение маргиналий никто из участников обсуждения не оспаривает, но причины этого переноса видятся по-разному. Для российских исследователей основной причиной явилось освобождение от пресса надуманных схем и идеологических установок советского времени. Для западных участников — отход от универсальных теорий, претендующих на объяснение всего на свете. Разница, казалось бы, существенная, но по большому счету и в том и в другом случае речь идет о кризисе «больших теорий» (марксизм, структурализм и др.), который спровоцировал появление «одноразовых» объяснительных схем, годящихся только для конкретного сюжета. И вообще в пору, наверное, говорить о кризисе объяснения, который, по мнению одних исследователей, связан с распространением постмодернистских настроений (Стив Смит), а по мнению других — с более полным видением объектов, нуждающихся в описании (Брюс Грант). Другими словами, на смену интерпретативным исследовательским стратегиям приходят описательные. А раз акцент делается на описании, то происходит резкое расширение количества описываемых объектов (более полная каталогизация явлений культуры). В этой связи интересна мысль Брюса Гранта о том, что «данное Тайлором знаменитое определение культуры как компенциума артефактов и практик, функционирующих в ограниченном пространстве, достигло своего полного расцвета только теперь, в новом контексте, возникшем за последние пятнадцать лет».

Расширение круга исследуемых объектов (и, соответственно, исследовательских тем) имеет свои особенности в России и на Западе. В России (и шире — в постсоветском пространстве) этот процесс совпал с отменой цензурных ограничений, и расширение тематики произошло

главным образом за счет исследований, посвященных обшеченному этнографическому и фольклорному материалу (о чем пишет Георгий Левинтон), политическим и религиозным сюжетам, школьному быту и явлениям субкультурных традиций. В западных научных школах это расширение имело другие подтексты (кроме неприятия «больших теорий» существенную роль сыграла общая либерализация и связанный с ней интерес к маргинальным группам, рост междисциплинарных исследований) и шло за счет включения в сферу исследовательских интересов таких сфер, как досуг, потребление и др. (Катриона Келли).

Отмечаемая многими участниками «фрагментаризация» предметного поля в сочетании с акцентом на форме, а не на содержании, дает основание предполагать неизбежную конечность поисков в этом направлении. «Превращение антропологии в совокупность все более локальных и частных исследовательских программ разрушает ее как целостную дисциплину. Концентрация усилий на изучении все более мелких подробностей ставит под сомнение *raison d'être* антропологии...» (Юрий Березкин). И дело, наверное, не столько в тревоге за судьбу антропологии как целостной дисциплины (что само по себе весьма спорно), сколько в том, что вслед за периодом накопления конкретных описаний всегда следуют попытки их осмысления и создания синтезирующих концепций.

В ответах на второй вопрос (о переносе внимания с изучения сельской культуры на городскую) нет такого большого разброса мнений. Для западных историков и антропологов это уже давно свершившийся факт. По мнению Тима Инголда, в Великобритании исчезло само противопоставление города деревне. Для российских исследователей акцент на городской культуре еще содержит некоторый привкус новизны. Причины такой переориентации видятся участникам Форума в параллельных процессах урбанизации и если не отмирания, то существенной редукции специфически крестьянских форм культуры. В результате российская антропология «оказалась перед выбором: либо превратиться в “науку антиквариев”, занимающуюся только “мертвыми” культурными формами, либо существенно расширить сферу своих исследовательских интересов, включив в нее “живые”, актуально функционирующие явления массовой культуры» (Александр Панченко). То обстоятельство, что российская антропология так «задержалась» на изучении деревни, связано не только с сохранением существенных отличий в городском и деревенском образах жизни, но и с инерцией длительной этнографической традиции, в рамках которой «крестьянское» выступало в роли *Volk*, то есть примерно в той же роли, какую играли для британской антропологии колониальные культуры. Советский период лишь увеличил дистанцию между городской и деревенской культурами и тем самым упрочил восприятие крестьянской культуры в качестве другой, иной, одновременно реликтовой и «исконной». Деревенский быт воспринимался и описывался как средоточие архаичных традиций, заниматься которыми было более прилично, нежели современностью и особенно советской городской культурой (Левон Абрамян). Естественно, что в постсоветское время взгляд антропологов обратился к городу.

Но и в западных исследованиях этот процесс нельзя считать однонаправленным. Его вектор вовсе не везде направлен от деревни к городу. Катриона Келли отмечает своего рода движение вспять к доиндустриальным практикам, что в разных точках мира может иметь различные мотивировки (антиглобализация, кризис прежней индустриальной экономики и др.). Вместе с тем все больше внимание исследователей привлекают не устойчивые, «законсервированные» объекты, а те явления, которым присуща процессуальность, высокая скорость трансформаций (Сюзан Гал, Сергей Соколовский). Городская культура с этой точки зрения представляет собой идеальное поле.

Как справедливо считает Вячеслав Иванов, «серьезные работы в этом направлении, связанные с развитием всего цикла современных урбанистических исследований, широко ведущихся во всем мире, коренным образом меняют направление антропологических занятий. Предметом становится не отдельная этническая группа, как бы она ни хотела сохранить свою самостоятельность или навязать свои особенности всем остальным в масштабе одного государства или целой группы стран, а ее соотношение с другими подобными группами в пределах одной территориальной единицы (например, мегалополиса), страны или объединения стран (скажем, объединенной Европы)». Ответы Николааса Харни напоминают нам, что в эпоху глобализации решить, к какому «этносу» принадлежит человек, совсем не просто: итальянцев, живущих уже второе и третье поколение в Канаде, нельзя назвать «эмигрантами», их самосознание определяется в первую очередь по отношению к канадскому городскому обществу, а не по отношению к первоначальной «родине».

Поскольку деревенская культура рассматривалась в качестве средоточия национальной культуры¹, то сам факт сдвига интереса к городской культуре, по мнению Левона Абрамяна, «сигнализирует об утрате интереса к корням культуры, к проблеме начала — независимо от того, вызвана ли такая утрата отказом от эволюционистских, семиотических или других методов реконструкции начала». Собственно, именно этому сдвигу посвящен третий вопрос. Для российской антропологии (этнографии) он имеет особый смысл, т.к. долгое время не только формально, но и содержательно она считалась исторической дисциплиной.

В истории советской этнографии и фольклористики был краткий период, когда наметился плодотворный переход к изучению современности. Роман Якобсон с П.Г. Богатыревым и Н.Ф. Яковлевым осуществили комплексное описание обычаев и фольклора Верейского уезда, о чем упоминает Вячеслав Иванов. Были и другие попытки, однако позже, как справедливо отмечает Левон Абрамян, заниматься современностью честному этнографу было практически невозможно: «Этнографией советского быта занимались лишь те, кто соглашался в лучшем случае не описывать наблюдаемую действительность, а в худшем —

¹ И не только в России, но и в Ирландии, Финляндии, Норвегии, Испании, Швейцарии.

описывать ненаблюдаемую. Исследователи же, руководствовавшиеся неконформистскими профессиональными и моральными принципами, сознательно или бессознательно отдавали предпочтение архаике, реконструкции, где они имели сравнительно большую творческую свободу» (ср. соображение Катрионы Келли о вынужденной защитной стратегии).

Эти особенности русской истории прекрасно известны западным коллегам. Не случайно Брюс Грант пишет: «Конечно, царство истории в советской этнографии было подчас тираническим. Внимание к вопросам этногенеза, несомненно, являлось благом для исследований доисторического, однако противоестественную озабоченность истоками, и сам политический подтекст, подпитывавший эту озабоченность, — доктрину первенства в определении прав суверенной власти спустя несколько веков — невозможно было не заметить».

Впрочем, преувеличенное внимание к архаике в советских исследованиях вряд ли можно объяснить исключительно внешними (по отношению к науке) условиями. По мнению Александра Панченко, «стремление к архаике является еще одним способом конструирования “чужого” — этого “неясного объекта желания” колониальной антропологии». Константин Богданов считает, что определенную роль в повороте к современности сыграла «девальвация тех фольклористических методик, в которых архаизация описываемого материала априори предвосхищала никак не верифицируемые, а самое главное — не фальсифицируемые — обобщения. Между тем, какими бы мистифицированными и эзотерическими эти обобщения ни были (будь то неопределенное прошлое Мировых деревьев или Основных мифов), их эвристический смысл, на мой взгляд, состоит не столько в описании прошлого, сколько в объяснении и оправдании настоящего. А эта задача вечна».

Иначе (и в другое время) совершался переход от изучения архаики к исследованию современности в западных научных традициях. По словам Тима Инголда, «переключение с понимания происхождения культурных явлений на их современное значение фактически ознаменовало основание в британской социальной антропологии школы функционализма Малиновского и Рэдклиф-Браун в 1920-х и 1930-х. Это было связано с сильными модернистскими тенденциями. В настоящее время, с крахом модернизма, возврата к исследованию «истоков» не произошло». В американской антропологии, по мнению Сюзан Гал, этот переход был вызван другими причинами: «Поворота к современной проблематике требовало новое положение США в мире. Однако его подталкивало и возникновение структурализма в антропологии. <...> Структурализм, применимый к исследованию не только языка, но и феноменов культуры, являлся мощным теоретическим новшеством. Кроме того, он выступал против исторической реконструкции, против любой разновидности историзма».

В настоящее время в американской антропологии (как, впрочем, и в британской, и во французской) история вновь становится актуальной, но

уже как история антропологических концептов. В этой связи (и на фоне усиления негативного отношения к диахроническим исследованиям среди российских антропологов) представляются своевременными слова Брюса Гранта: «Что бы ни думали об идеологических мотивах, советская академическая традиция придала истории такое фундаментальное значение для науки, к которому западная антропология подошла значительно позже в своем развитии (быть может лучше всего воплощенном в работах Маршалла Салинса, Бернарда Кона или Джин и Джона Комарофф). Историзм в наши дни, кажется, достиг своей наивысшей точки в британской, американской, немецкой и французской антропологиях. Неужели российская наука сейчас склоняется к тому, чтобы отказаться от столь долго удерживаемых, наиболее сильных своих достижений?»

Ответ на первую часть последнего вопроса («Не может ли оказаться, что все три пункта связаны между собой и представляют собой разные проявления одного процесса?») многим участникам представляется очевидным: речь идет о глобальном процессе изменения исследовательских ориентиров. Что же касается второй части вопроса («Не означает ли это, что изменились не только представления о том, что такое “народ”, но и что такое “традиция”?»), то, судя по ответам, она затронула одно из больших мест. После работ П. Бурдьё эти понятия, по выражению Брюса Гранта, утратили свою невинность. Некоторые из участников отмечают роль известной книги Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера «The Invention of Tradition», в которой отмечается, что многое из того, что в XIX и начале XX века рассматривалось как давно бытовавший «традиционный фольклор», было в действительности фактами последнего времени. Особое отношение сложилось к понятию «народ», которое оказалось перегруженным политическими коннотациями. Это обстоятельство заставляет одних отказаться от использования этих и подобных понятий (ср. также «нация», «культура» и т.п.), других — отрицать само существование явлений, на которые указывают эти термины, третьих — задуматься над тем, что если нам необходимы аналитические категории такого уровня, то они все равно будут созданы хотя бы для того, чтобы вскоре быть отвергнутыми. Вопрос в том, нужны ли они? Например, для этнографов и антропологов новых государств, формирующихся на постсоветском пространстве, этот вопрос представляется далеко не праздным, на что справедливо указывает Севир Чернецов. Естественно, аналитическая необходимость каждого из этих понятий оценивается по-разному. Скомпрометировавшие себя понятия «народ» и «этнос» отданы журналистам¹. Немногом выше на этой шкале понятие «культура». «Традиция», несмотря на то, что этнографы и антропологи признают свое авторство в создании многих конкретных традиций, считается гораздо более научным понятием (вероятно потому, что воспринимается не как объект, а как процесс). Но дело обстоит так, что реально, т. е. в качестве аналитических категорий, они сейчас мало кому требуются. Для антропологов они если и нужны, то в другом качестве, а именно в качестве концептов, анализ которых может показать их поли-

¹ Ср. показательное название недавно вышедшей книги В.А. Тишкова «Реквием по этносу».

тическую ангажированность. Эту направленность очень точно уловила Сюзан Гал, которая пишет: «Текущие антропологические исследования в США в значительной степени заняты тем, что лучше всего можно было бы назвать «метаанализом». Ученые не желают употреблять такие термины, как «народный», «традиционный», «подлинный», или, с другой стороны, «популярный», «современный», «рациональный» и «развитый», не исследовав предварительно источники и исторический контекст, из которого попадают в научный и исторический мир (как правило) европейской политики такие концепты, как «современный» или «традиционный».

Антропологи сегодня занимаются историей и стараются понять «как их собственные концепты (например, само понятие “культуры”), а равно и иные системы знания (к примеру, ислам, системы колдовства), циркулируют и влияют на культурные практики и политическую организацию социальных групп по всему земному шару».

Подобного рода сюжеты привлекают внимание не только антропологов США и Европы. Некоторые российские исследователи сегодня движутся в том же направлении (ср. комментарии Павла Белкова о связях между фольклором и этнографией с одной стороны и *Volkskunde/Völkerkunde* с другой). Однако, преимущественный интерес к «метаанализу» вряд ли является долговременной тенденцией в мировой антропологии, а тем более в российских исследованиях, учитывая ситуацию, в которой пребывает Россия и другие постсоветские государства. Накопленный здесь эмпирический материал, нуждается в новом осмыслении. Степень изученности разных регионов постсоветского пространства, как отметил Брюс Грант, крайне неравномерна. Кроме того, некоторые традиционные жанры фольклора остаются продуктивными (даже если речь идет о другой традиции или о другом состоянии традиции — о чем говорит Георгий Левинтон) и возникает вопрос: а следует ли прекращать заниматься подобного рода материалом только потому, что он практически исчез в некоторых районах Америки и Европы? Озабоченность некоторых участников вызывает и судьба интеллектуальных традиций, обязанных своим происхождением антропологии, например, полевых исследований, которые сейчас все меньше применяются в антропологии и все больше копируются и распространяются в других дисциплинах.

Состоявшийся обмен мнениями показал, что наиболее проблемных вопросов очень много. Они касаются перехода от изучения объектов (ритуал, народ, культура) к изучению процессов и состояний (ритуальность, идентичность, социальность); переосмысления отношений между исследователем и объектом исследования; возрастающей рефлексии по поводу самой академической практики. Очевидно, что происходящие изменения затрагивают не только концептуальные основы антропологии (и шире — социальных наук), но и понимание места науки в обществе. Эти темы будут обсуждаться в последующих номерах журнала.

Альберт Байбури